ПОСЛЕДНИЙ КОНЬ

– А что смерть? Смерти не надо бояться. Смерть придёт – помирать будем, и всё. Сама природа за нас всё совершит. Вот ты мне всё: Бо-ог, Бо-ог! Да никакого Бога-то и нет! Все это сказки, попы придумали. Чтобы легше народ обирать. Если сам себе не поможешь – никакой Бог тебе не поможет. Вот я задумал дом строить. И что? Бог мне, что ли, его построит? Так нет же! Я сам! И брёвна сам вожу, и доски сам тесаю, и топором сам махаю, и... да что говорить! Бо-ог твой! Я сам себе Бог!

– Побойся Бога, Юрий Иваныч...

– А что мне Его бояться? Я перед Ним ни в чём не провинился. Вон! –
рукой машет. Свежий ветерок с Волги – глубоко, всей грудью, вдыхает. –
Вон сад насадил! Дом второй внучке построил, её семейству! Да в одном только Мизгире – семь домов сложил! А бань сколько – не счесть уже! И нужников!

– Юра-а-а-а...

– А что? – и хохочет заливисто, а рот-то беззубый, верхние зубы уже почти все сточились жизнью, нижние торчат, как сирые пеньки. Хохочет! Голову откидывает! А в голове – ни одной седой волосинки, в восемьдесят лет, ни одной! Тёмно-рыжий, каштановый, густющий волос, плотный! И лишь виски – седые. Два мазка ярких, пронзительных белил. – Ну да, нужников! Нужник – оно ведь от слова «нужный». По нужде ведь человечек туда бредёт, в нужник-то! А что, он в поле чистом присядет, как деды наши, на меже, что ли?!

Хохочет.

Я отпиваю чай из маленькой, кокетливо-городской – странной в деревне – чашечки. Я погружаю деревянную ложку в густоту и самоцветный, таинственный – будто из пещеры священный янтарь мерцает –
блеск прошлогоднего мёда, недвижно стоящего, как коричневое вечернее озеро, в хохломской миске. Я смотрю на этого человека, на мизгирьского старика Юру Опарина, и понимаю, что он – не старик и что он никогда, никогда не будет стариком.

Он будет всегда юным военным пионером, баянистом-разгульником, с живо колышущимся, как лодка весёлая, баяном в руках, идущим по улице, по светлому, с белыми – мгновенно высохшими после дождя тропинками – Мизгирю, игрецом-баянистом, забавником для толпички насельников мизгирьского дома отдыха № 2, а № 1 уже уничтожили, уже все дома разломали и всё могучей зеленью заросло, а Юра всё идёт, всё играет вдоль улицы, всё подмигивает встречным бабёнкам, и беззубой Соне, и грузно сидящей на лавке Евдокии Елпидифоровне Синцовой, когда-то первой сельской красавице, – идёт, играет на баяне, и всею статью своею, всем лицом загорелым, скуластым, чувашским, говорит-кричит-вопит, что – веселися, народ, а Бога всё равно нет!

– Юрий Иваныч. Бог всё равно есть.

– Ну как ты мне это докажешь, роднуля моя?!

«Роднуля» – так Юра называет всех милых его сердцу женщин. Но мне кажется, что я и вправду ему родная.

– Как? – Я засовываю ложку с мёдом в рот. Мёд у Юры Опарина лучший в Мизгире. Пусть не ревнует великий мизгирьский пасечник Илья Ильич Горнев, профессор сельскохозяйственной академии и дальняя родня
великого писателя Ивана Бунина, а Юрин мёд – это великий мёд: он пахнет донником и клевером, гречихой и ромашкой, он благоухает, как... как...

как мvро святое. Но разве это Юрию Ивановичу втолкуешь?

Да он обсмеёт тебя с головы до ног!

– Да, как, как! Ну, давай, доказывай! Начинай!

«Как накакал, так и смякал», – вспоминаю я Юрину пословицу, которую он сам же всегда произносит на брошенное в его сторону словечко «как». Смеюсь.

И он опять хохочет. И беззубая челюсть вся на виду. И расцеловать мне его хочется в эти смуглые, загорелые морщинистые щеки. Сидит целыми днями на крыше, машет топориком! Спина голая! Солнце его целует. Обцеловывает. Солнце уже, а не женщины.

Чашку он берёт не за изящную ручку – кладёт себе в ладонь всю, как птенца. И дышит, и дует, и наконец хлебает, и чаем всё равно рот обжигает. И кряхтит: «А-а-а, едрить твою!»

– Ну вот... – Я поначалу теряюсь. Так, надо сосредоточиться. С чего начать?

Меня осеняет.

– Христос тоже плотником был. Как ты.

– Кем, кем? – приставляет Юра ладонь к уху.

– Плот-ни-ком!

– Хм! Плотником, говоришь? – Юра задумывается. – Поп наш, отец Виктор, нам этого не говорил. А только невнятицу бормотал да кадилом вонючим кадил. Охмурял! И всё. Плотником, говоришь...

Юрий Иванович замолкает. Морщины испещряют его высокий, смуглым куполом, выпуклый лоб. По коричневому, как древний пергамент, лбу идут письмена. Что в них?

В них – история его жизни.

Одной-единственной жизни на земле.

– Ну и что? Я тоже плотник. И тыща, мильён плотников на земле жило... и померло. Бог-то, Бог-то тут при чём? Ну, плотник, да ведь не Бог же?

Я запиваю мёд остывшим чаем. Самовар отблёскивает латунным, тёмно-серебряным боком. Юриной жены, Ирины Петровны, в избе нет –
а куда она ушла?

– Где Ирина? – на миг прекращаю я разговор о Боге.

– Ушла к любовнику! – весело кричит Юрий Иванович.

Я зажимаю руками уши.

– Юра, не кричи, пожалуйста, я не глухая. Вернёмся ко Христу. – Глотаю сладкую слюну. Волнуюсь очень. Ну как ему сказать, доказать, показать, что Бог – есть? – Он жил среди людей. О Нём историки Его времени упоминали. Сохранились письма древние... документы. Книжки всякие! Но не в них дело! – Я тороплюсь. Я говорю что-то не то. Совсем не то и не так. А как надо? Как? – А в том дело, что... что...

– Ты медку-то поешь, поешь, – насмешливо и тепло улыбаясь, пододвигает ко мне миску с мёдом Юра. – Я тебя слушаю внимательно. Ты... не спеши.

Да, тут спешить негоже. Иначе... ничего не получится. И зерно я... не посею...

– Он ходил среди людей. Всё время с народом был. И проповедовал. Он говорил о любви. О том, что надо любить ближнего. Он... исцелял. От неизлечимых болезней... Бесов изгонял из людей...

– Ну это уж враки! – Юра сводит брови. Потом ухмыляется. Втыкает вилку электрического самовара в розетку. Самовар пошумливает, Юра посмеивается. – Враки чистой воды! Как это можно исцелить от неизлечимых болячек?! Вот рак! Если ты рак подцепишь – каюк тебе! Лечись не лечись!

– Юра... – Чувствую своё бессилие. – Юра, понимаешь... У Христа была сила такая. Он – мог! Он и рак вылечивал... и одержимость бе-
сом... и... даже...

Прыгаю головой в омут.

– И даже – мёртвых – воскрешал!

Юрино лицо сначала застывает, как этот мёд застылый в миске. Потом он закидывает голову высоко, затылком шеи касаясь, и хохочет уже вволюшку, с наслаждением, с присвистом и с прихрипом, с бульканьем, будто вино у него или чай булькают в глотке:

– А-хр-хр-га-га-ха-а-а-а!.. а-хи-хи-хра-харха-а-а-а...

Отсмеявшись – я терпеливо жду – он вытирает мокрое от смеха лицо руками и, подняв на меня узкие, раскосые, плывущие хитро и смело по лицу, как две юрких уклейки, лесные – первобытные – чувашские глаза, посылает в мою сторону убийственную пулю:

– Мё-о-о-ортвы-ы-ых?! Не-бре-ши!

У меня опускаются руки. Не хочу больше ни о чём говорить. Плохая из меня апостолица. Рядом с миской мёда стоит фарфоровая чашка, в ней – холодные блины, это Ирина утром пекла. Ещё стоит тарелка, и в ней размазана сметана. Надо сворачивать блин трубочкой, обмакивать в сметану и наяривать. Вкусные блины у Ирины Петровны. Хорошо она готовит. Поэтому Юрий Иванович её никогда не бросал. Хотя у Юры было в жизни женщин – не счесть сколько. Он был деревенский донжуан – Юра, гармонист-баянист, пасечник, плотник умелый, и фотограф смелый, всех в округе на плёнку снимал, «Зенитом» своим всех перещёлкал, а потом фотографии – тайком, из-под полы – сельчанам продавал: не сказать чтоб дёшево, сметливый Юра, всегда знал, как деньги добыть, – и собой смазлив, превосходен, глаза острые, раскосые, нос орлиный, снегово-белые зубы тогда ещё не сточены были до корней, только... только росточком мал, росточком – не вышел...

«Как хотела меня мать да за шостого отдать... А тот шостый – парень недорослый, ой, не отдай меня, мать!..»

– Ну чё ты, чё ты, роднулька?.. Чё пригорюнилась?.. Ну не Бог твой Христос, и делу конец! Никто и никогда мне не докажет, что Он – Бог! Ну чё, слёзки-то уже, что ль, капают?.. Экая ты какая нежная... Дай развеселю...

Юра хватает с рассевшегося – все пружины наружу – дивана свой старинный баян и играет мне разухабисто, привольно, пальцы корявые так и бегают по кнопочкам чёрным и белым, так и тянут в разные стороны баянные меха, – и поёт, да как хорошо поёт, звонко и молодо, эх и голосок, деревцо в саду сшибёт, с таким бы – в Большом театре выступать в своё время, Лемешев бы с Козловским позавидовали бы, за соперника б держали:

– Гармонист, гармонист, шишка фиолетова!.. Ледянова не люблю, а люблю нагретова... Эта девка ничаво, и вот эта – ничаво, а вот эту я заметил – она дышит чижало... Э-э-эх-х-х-х!..

Переборы баяна. Музыка, лейся и закрути меня!

– В музыке твоей – Бог, – шепчу беспомощно, – и в домах, что ты построил по селу, в домах твоих – Бог... и в детях твоих – Бог...

Юра не слышит. Растягивает меха баянные. Он и так-то глуховат на одно ухо. Слышит плохо.

– Я наелся, напился, хрен за ляжку завился! Чай я выпил, сахар съел, самовар на хрен надел!.. Ух ты, ах ты, все мы космонавты!..

Я хлопаю в ладоши. Я забываю о Боге. Я хохочу. Я пою с Юрой частушки.

Фарфоровая чашка чуть позванивает, вибрируя, от обертонов его звонкого, пробивающего старость насквозь, вечно молодого тенорка.

– Когда гости соберутся, за закускою сидят, а хозяева трясутся: неужели все съедят!.. Ух ты, ах ты, с бухты-барахты!..

И я пою, громко, на всю избу, как на гулянке, его любимую частушку –
я помню её, знаю её:

– Я работала в колхозе, заработала пятак! Пятаком я зад прикрыла, а перёд остался так!

– И-и-и-и-их! – взвизгивает Юра и ещё сильнее впивается в кнопки старого баяна.

Стукает дверь. Юрий Иванович резко обрывает музыку. Слышно, как в сенях сбрасывают обувь.

– Ирина явилась, – обречённо кидает Юра – и сдёргивает баянный ремень с плеча.

Ирина Петровна входит в гостиную, на её лице – запрятанная глубоко, как в пещеру, ярость. Её глаза кричат: «Вот, сидит, старый бес, с бабой веселится, лясы точит, медок подъедает, на баяне играет, песни заводит, а работа – стоит!»

– Здрасс... – выдавливает Ирина, стараясь пройти к себе в спаленку бочком.

– Здравствуйте, Ира! – встаю из-за стола и глупо кланяюсь я. Себе кажусь твёрдой, расписной деревянной матрёшкой. – А мы вот с Юрой тут...

– Я вижу, что вы с Юрой, – грубо, но внятно отвечает Ирина из спальни. Скрипят пружины: это Юрина жена тяжело легла на кровать.

И затихла. Всё затихло.

\* \* \*

Юрий Иванович, оторви и брось, палец в рот не клади, откусит, времени для него нет, да и старости нет, а спросишь, когда родился, весело машет рукой: «Забыл!» – Юра Опарин, сын чувашки Анны, да и отец, Иван, наполовину чувашин; вся родня – вверх по Суре, деды и бабки его жили и в Кузьме, и в Гордеевке, и в Панкратовом лесничестве, – вот они, со стен Юриного дома, со старых фотографий, глядят на меня. Пожелтела бумага. Обломались резные края фотографий. В рамочках, бронзовых и чёрных, деревянных и стальных, – лица, лица, лица. Раскосые лица, тёмные, светлые, печальные, радостные; то суровые, то нежные. Женщины в странных шапочках, будто богатырских островерхих шлемах, густо обшитых монетами; мужчины в белых рубахах со сказочными узорами; деревянно, гордо, выпятив грудь, сидят на скамьях в мощных лаптях и белых чулках. Чувашками да марийками, нарядными, смуглыми да раскосыми, в ярких платьях до земли и в ослепительных монистах, наш Мизгирь по праздникам украшен, и по советским, и по новейшим, и по церковным, и по древним, первобытным, марийским и чувашским; да и сенокос на селе – праздник, и базарный день – тоже праздник, да ещё какой! Спешат марийки и чувашки на рынок; чувашки – в платьях чёрных, из чёрной шерсти, даже в жару, или из чёрного штапеля; на груди висят мониста из позолоченных монет, а у кого и из серебряных; марийки – в одеждах ярких и радостных: снежно-белых, ярко-розовых, ясно-голубых, густо-зелёных, жгуче-красных, платья по подолу и по рукавам вышиты весёлыми узорами, головы женщин туго повязаны цветными платками, и, когда они движутся на рынок, с корзинами в руках, кажется, будто в солнечном мареве медленно плывут по направлению к торговым рядам яркие цветные фонари. Рынок гудит; на лотках бабы раскладывают творог, круги масла и овечьего сыра, ставят вёдра со сметаной, банки с молоком, и парным, и топлёным, с коричневой корочкой; а вот она и свежая рыба в широких и плоских, распластанных на земле корзинах, тяжело ворочаются тёмно-золотые лини, бьют хвостами язи и краснопёрки, – а вот россыпи ягод: в дощатых ящиках светится рубинами нежная крупная малина, красные горы клубники катятся в пакеты и кульки, а вот и первая кислая вишня, ещё алая, не сладко-черная, родительская, а ранние сорта, вырви-глаз, – а вот и прошлогодний чувашский мёд, просвечивает сквозь толстое стекло банки царской, густой желтизной; а вот в руках дочерна загорелой марийки Лины копчёные лещи, и она бережно, аккуратно кладёт лещей, как драгоценности, на широко расстеленную по прилавку чисто-белую материю.

Подходи, налетай! Лещей за хвосты хватай! Малину горстями бери, аж светится изнутри!..

Так и мать Юрия Ивановича, смуглая и суровая, молчаливая Анна Тимофеевна, когда-то на рынке стояла; чувашские раскосые глаза на солнце щурила; так же лещей на белой ткани раскладывала да на покупателей глядела – кто быстрей подойдёт да самого золотистого, тяжёлого крупного леща выберет. Отец Юрин, Иван Иваныч, был из семьи бурлаков – потомственный бурлак, речник. Река кормила. Река поила. Река – в зной – освежала. По реке – когда наступал ледостав – ездили в другие села, гнали лошадёнку, впряженную в сани, а потом катили в машине и крутили баранку – река дорогою была. Вся земля и вся жизнь была – река, и потому чуваш Юрий Опарин так любил реку, так любил...

– Так люблю реку – силы моей нет! Волгу! Суру! Да любую речонку малую! Вода, вода... Шыв...

Я спрашивала Юру, как по-чувашски будет: хлеб, вода, земля, свет, жизнь. Только как будет смерть – не спросила.

\* \* \*

Ирина Петровна Опарина когда-то была начальницей всех трёх мизгирьских домов отдыха. Тогда ещё живых. Жив был и № 1, и № 2, и № 3 – дом отдыха для инвалидов, там отдыхали туберкулёзники и астматики, безногие и безрукие; и Ирина была большою начальницей, и деньги у неё водились, и к поклонению она привыкла, и к подаркам разным – к конфетам шоколадным, к пузатым бутылкам дорогого коньяка, к отрезам и сервизам, – и на тот берег Волги её с высоким начальством и ещё с другими смазливенькими сельскими бабёнками, лёгкими на передок, на лодках возили – развлекаться; и развлекались, как умели, широко, вкусно, благо жизнь была одна, и красиво, и сладко было в ней пить-гулять, за кустами старых вётел и ракит волжских, на тёпленьком золотеньком песочке целоваться-обниматься – при живом-то муже, – а что такого? Он-то, живой муж, сам хрен не промах! Сам – с кралюшкой очередною – за углом да под кустом, то на Ястребином бугре, то на Венце, у церкви, и не стыдно сношаться-то, голожопым, у храма Божьего в кустах да в осоке рослой, охальники! Думают – не видать их там! Очень даже видать! Всё село над ними ржёт, как кони! А мы – культурненько; с шампанским да с коньячком в бокальчиках, под закусочку знатную. Со стерляжьей ухою, а в ухе – оранжевые, золотые звёзды жира плавают. А мы – с балычком, с молочком-крендельком... при закате... на лодках музыка играет... магнитофон новомодный, «Романтик» называется... Ну и что, начальнику подмахнула?! Зато дом отдыха номер два с новыми каменными корпусами к будущему лету будет! А-а! Знай наших!

А Юрка? Что Юрка? Юрка – потаскун. Ему свое хозяйство вечно некуда девать, вот он и суёт его куда ни попадя. Бабы к нему липнут, это да... будто бы он мёдом намазанный! И правда, бабыньки, может, он, это... себе... мёдом мажет?!.. втихаря... Да не, ну чё ты, Валька, у няво б ширинка слиплась, посцать бы захотел – дык не расстягнул бы... ха-а-а-а...

Ну вы, бабы! Языки развязали! Это ж муж мой, однако!

И то правда.

Я ж ему детей родила, между прочим! Двух! Дочь! И сына!

И то правда.

Сыну-то он как радовался! Мужики – они сынов всегда сильно ждут!

А мой-то вот дочерь хотел. И я ему – родила девку!

А давайте, женщины, споём!

И то правда. Хорошее дело.

– И петь будем! И гулять будем! А смерть придёт – помирать будем... И-и-и-и-и-их!..

На жаре хорошо из горла́ вовсе не водка идёт. На жаре хорошо идёт как по маслу красное прохладное – на берегу в песок закопали, прохладцу сохранило! – грузинское вино. Киндзмараули, саперави. Самое то – в жару. А шампанское не идёт. Ну, коньячку можно... плесни мне... немножко... с лимоном... и бутербродик с балычком дай!..

Щас, Ирина Петровна, щас, вот, пожалуйста. Выпейте и закусите.

Я одна не пью. Себе налей, растяпа!

Уж налила...

А где начальнички-то наши?.. Убрели?.. Надоели мы им...

Они, Ирина Петровна, этта... Рыбку ловят. На удочку. Веселятся.

На удочку! Идиоты! Надо было сеть взять нормальную. И язей натаскать хороших, с лапоть, в доме отдыха зажарили бы...

Ирина Петровна... Дык вить щас... запрет...

Для кого запрет, а для меня – нет! Запомни, дура! Для меня – никаких – запретов – нет!

\* \* \*

Для Ирины Опариной и правда не было никаких запретов. Она делала в жизни что хотела. Она дружила с поселковой начальницей, Аглаей Царапкиной; вместе пили, вместе пели, любовниками щедро менялись; вместе сожгли на сельском кладбище чудную, грациозную, как девушка на выданье, деревянную церковку, что, наверное, самого Пушкина помнила, когда он тут по Владимирке в губернский город Оренбург проезжал.

Старухи выли на всё село. Выли по церкви, как по усопшему. Плакали.

По домам – Псалтырь ночами бормотали.

Дома Божьего лишились. Негде было теперь молиться, кроме как – в домах перед киотами прабабкиными, перед иконами чёрными, алыми, как кровь, мрачно-золотыми, прадедовыми.

Молиться в село Колокольнево ходили, к марийцам; в Залужье на пароме переправлялись, до собора, в любую жару и в любой, хоть лютый холод, добредали. Народ не может ведь без храма, без молитвы, без исповеди, без Бога. Так, как моется народ в бане, драит кожу мочалкой, –
так же очиститься хочет, душу очистить на исповеди, покаяться и причаститься. Чистоты люди хотят. Без чистоты – нельзя. Покойника и то обмывают. А живой? Как грязный, во грехах, будет жить?

Да ведь вот так и жили. Без церкви.

А та церковь, что на Венце стоит, так она ж вся разломанная! Ни стен! Ни апсид алтарных! Росписи все напрочь сцарапаны! На полу –
дерьмо собачье и человечье вперемешку! А вместо купола – живое небо, днем синее, ночью чёрное, – купола-то нету, пробили, взорвали, что ли... Лишь один выжил куполочек, над колокольней, крохотулечка, весь покрыт вроде как рыбьей чешуёй, такими пластинами... Колокол – вырвали, как язык... Наверное, в Волге утопили.

Крест на куполке том набок повалился.

И так эту церковь-развалюху Юрий Иванович и фотографировал: с покорёженным крестом, без купола, со стенами, будто бы бомбили её с воздуха. Кино и немцы, седьмая серия! Да ведь это всё свои делали, свои... русские... никакие не фашисты, а свои...

– Русские?.. Не-е-ет, роднулька, народ делится всегда так: на своих и несвоих! На народ – и власть! И так было, есть и будет всегда. И – не рыпайся! Так мир устроен. И его так люди устроили. Люди! Не Бог твой!

\* \* \*

А потом у советской царицы Мизгиря, Аглаи Федоровны Царапкиной, дом спалили. Дотла.

Дознаваться стали. Всё село кверху ногами приподняли. «Кто, кто! – как бешеная, орала Царапкина. – Узнаю – никакого суда! К чёртям суд! Сама подлеца задушу! Вот этими, этими руками!» И руки народу показывала. Все в золотых перстнях. Милиция с ног сбилась. То одного в каталажку заграбастают, то другого, то третьего. Трясут. Ничего не стыкуется! Канул поджигальщик – как в Волгу! Как по Суре к чувашам уплыл!

И вот что получилось.

Кто-то – на Юру Опарина – пальцем показал.

Показать – дело быстрое и нехитрое. Но тот узловатый палец Царапкина издалека увидала.

Взяли Юру быстро.

Судили.

И – в тюрьму посадили.

При совецкой-то, нашей, молодецкой, доброй такой власти! Справедливой!

А он на суде и не отрицал ничего.

– Я это, знаешь, Ирине тогда шепнул только: бесполезно отпираться, Царапкина всех судей купила, прокурора купила, всё равно засудят. Ей надо, чтобы виновный был. Ещё я тогда Ирине сказал: Ир, подавай на развод. Если меня накрепко засадят – на большие срока – ну чё тебе куковать? Ты, это, замуж выходи. А потом, ну, чтобы... дурной славы о тебе не было: вон, мол, идёт... жена преступника. Я-то уж тут, в тюряге, как-нито. Я – сильный, даром что малорослый! Я – выживу! Давай, баба, разводися со мной! И не мешкай!

– И что? Развелись вы?

Обнимаю взглядом Юрину избу.

Он подмигивает мне весело.

– Развелись!

– А вместе живёте?

– А вместе живём! – Подмигивает мне другим глазом. – И вместе помрём.

\* \* \*

За окном шумит лето. Светлое, жаркое, благодатное лето. «Отдам всю зиму за один летний день!» – это Юрины слова. Я их с детства помню.

Когда я ещё девчонкой была, и мы, наша семья, на лето снимали комнату у семейства Медведевых, а медведевский дом как раз напротив Юриного дома, – я помню Юру: с баяном, босой, по глинистой дороге он шёл вперед, в жару и солнце – и вёл за собой, так гусыня ведёт за собою гусят, послушных отдыхающих; и громко, оглушительно кричал им, оборачивая к ним кудлатую голову из-за громадного баяна: «А сейчас мы пойдём на Коршуново гнездо!.. Там жил всемирно известный писатель Максим Го-о-о-орький!.. А поглядите, ув-важаемые, направо!.. видите дерево?..» – «Видим, видим!» – хором отзывались отдыхающие. «Так вот! – возвышал голос босоногий Юра. – Здесь когда-то повесилась девушка!» – «О-о-о-о-о...» – горестно поникали головами потрясённые дачники. Не давая им опомниться, Юра возглашал: «Она повесилась... парню на грудь! Любовь у них была! Большая! Вот!»

Дачники облегчённо хохотали, хотя кто-то, толстый и одышливый, возмущённо кричал из летней, полуголой, пляжной толпы: «Не смешно!»

А Юра разводил руками, запрокидывал голову, глядел на облака и выкрикивал вверх – небу, облакам, птицам: «Эге-гей! Отдам всю зиму!.. за один!.. летний день!..»

И гусь бежал навстречу мне, а мне было десять лет, и я – в ворота, да не успела, гусь ухватил меня за ногу клювом и ну кусать, драть, вырывать из ноги кусок детского, сладкого мяса, свирепый, адский гусь, с красным, бешено-оранжевым, чёрно-золотым безумным глазом, я глядела в этот глаз птицы и видела там боль мою, жадность гусиную, ад и безумье, – и я схватила гуся за шею, рванула, оторвала от себя впившийся в плоть железный клюв, и так, держа обезумевшего вожака за шею, размахнулась – и кинула, швырнула его в гогочущую, белую, лапчатую стаю. Шмяк! Борьба дитяти и дракона. Борьба добра со злом.

Или – как Юра бы сказал – просто, безо всякого зла и обиды, обычная жизнь природы, обыденное сражение живого с живым?

Гусь – был. Я – была. И кровь обильно, темно текла по детской ноге. И рыдала я. И перевязки; и спирт; и мази; и уколы. А где же был мой Бог тогда?

А Он улыбался и тихо смотрел, как девочка храбро борется со страшной птицей.

А Юра, босой и весёлый, маленький, что твой рыбацкий котелок, шёл мимо с бессмертным баяном, и дачники шли за ним, как гуси за вожаком, и Юра гоготал, на солнце, на волжском жарком синем ветру, не хуже того гуся, а пел так громко, что в полях, далеко, на другой стороне реки, за Полынным озером и на Коровьем острове, слышно было:

– Огней так много золотых на улицах Саратова-а-а-а!.. Парней так много холостых!.. а я люблю-у-у-у... же-е-ена-то-ва-а-а-а!..

\* \* \*

– А знаешь, роднулька, чё я сейчас хочу больше всего?

– Ну что, Юра?

– На коне поскакать!

– А где ты сейчас в Мизгире коня-то возьмёшь? Нет у нас коней.
У нас и коров-то почти не осталось... Народ только кур да гусей держит... ну если кто ещё козу заведёт, молочка-то охота...

– А вот есть у меня конь. Есть! Из самой Шатуни, с конезавода!

– А где он, Юра, где конь-то твой?

– Да вон! Выглянь в окошко! На площади пасётся! На постриженной траве!

Я выглядываю в окно, гляжу сквозь Иринины герани и вижу чудо. На бархатной зелёной травке, на полдневном солнце, на просторной круглой площади, где парни самозабвенно играют в футбол, неистово лупят ногами по мячу, пасётся красавец-конь. Гнедой, чуть в золотинку. С длинной гривой. И машет головой, отгоняя слепней.

Я оборачиваюсь к Юрию Ивановичу.

– Юра! Это правда твой конь? Ты не шутишь?

И вдруг Юра становится серьёзным. Очень серьёзным.

Таким серьёзным, что мне – становится страшно.

Молчание обнимает нас, и время надвигается на нас невидимой, ещё неслышимой грозовой тучей, из-за Волги, из-за Суры, из-за утонувших под хищной водой золотых забытых песков.

Я слышу только звон с той церковки кладбищенской, сиротьей, нежной, деревянной, сожжённой.

А Юра поднимает ко мне внезапно ставшее тёмным, тяжёлым, земляным, изморщенное лицо.

Ещё живое.

Я беру его за руку. Я слушаю меха баяна, длинные хрипы в его старой груди.

– Да, – говорю я тихо, очень тихо, тише воды ниже травы, – да, Юра, ты покатайся на этом коне. А как... его зовут?

Юра разлепляет старые губы. Седая колючая щетина обнимает его смуглый подбородок. Глаза, как у коня, косят.

– Маяк его звать.

– Маяк! Гордо...

– Я сам гордый.

Он выпячивает грудь под рубахой. И он говорит мне то, что никакой человек не должен никому говорить, потому что никто не знает часа своего.

– Роднулька! Я скоро умру. На коне напоследок хочу покататься!
У нас ведь был конь. Я всё детство – верхом. Однажды с рынка возвращался, с коня спрыгнул, увалился в телегу и заснул. И конь меня домой доставил. А дело было зимой, снегу намело выше крыши! Они такие, кони. Лучше собаки дом знают. Кони и пчёлы – всегда рядом с нами.
И ещё куры и гуси. Помнишь, как тебя гусь тяпнул?

– Помню.

– И что? Всё ведь зажило давно!

– Да. Зажило. И шрама нет.

В меня летит это раскосое лицо, и оно уже цвета земли, и из груди уже доносятся влажные речные хрипы, и седые волосы шевелятся не на сквозняке из форточки, а на вольном ветру, обращаясь в седую полынь, в седой ковыль.

– Вот так и я помру. И лягу в землю, и закопают. И сровняется с землёй могилка. И заживёт этот шрам. Напрочь заживёт. Как будто бы и не было ничего. Не было – меня. Вот он, твой Бог!

\* \* \*

Молодой конь скакал резво, намётом, по широкому полю, по узловатой от комьев сохлой глины, как старая протянутая рука, просёлочной дороге, что уходила вдаль, в сизый туман, на Белянку, на Морозник, к марийцам. Он нахлёстывал коня жёсткой ладонью по холке, по крупу, конь был молодой, а он был уже старый. Господи, какой же старый был уже он!

Конь, коник, Маяк, Маячок, посвети ещё, посвети...

О чём он думал, когда, закрывая глаза, скакал по полям-лугам в сизый голубиный вечер, в серебряно-огнистую ночь? О том, как он появился на свет в приземистой, вросшей в землю чувашской избе? Он не запомнил этого – кто ж из живых своё рожденье помнит? Но сейчас это видела странно молодая, моложе гнедого конька Маяка, его душа, или что там у человека внутри гнездится-то вместо души? Он не верил в Бога. Никогда не верил в Бога. Почему ж теперь он видел это – и тусклый, тёмно-золотой огонь свечи в сумеречной избе, и закопчённые чернью кровавых веков, как копчёные сурские сомы, иконы, и медный таз, и чистые полотенца, и слышал звериный, долгий крик роженицы, поднявшей к низкому бревенчатому потолку голые острые колени; и, глядя сверху на скуластую раскосую женщину, обряженную в серую холстину, задранную к подбородку, а всё тело бесстыдно, широко раскинулось на полу, на старых овчинах, голое, смуглое, жилистое, лишь живот торчал коричневым страшным бугром, он понимал: это он, да, вот он рождается, лезет на свет, это его красное темечко, кряхтя, заталкивает обратно в лоно матери сидящая на корточках толстая повитуха в домотканом холщовом платье с красной вышивкой, это он, внезапно выпроставшись наружу из вечной тьмы, орёт как резаный поросёнок, так, что отец, за дверью стоящий, – он тоже видит его сверху, видит лысеющий затылок и жёсткие космы бороды, – широко крестится, с размахом, будто косою идёт по солнечной луговой траве.

«Сын! Сын родился! – Повитуха ловко подхватывает бруснично-красного мальца на кривые, ухватом, руки и нежно подносит ко груди матери. – Сынок, Аннушка!.. Сын – помога в хозяйстве... сын – надёга и опора... умница!.. молодчина, легко родила...»

Конь скакал, далеко отбрасывая хвост. Голубой, ватно-серый туман медленно поднимался из разлогов, из распадков, от реки.

Волга, Волга, Волженька, мать моя, матушка моя... Люблю тебя! Прости меня... И ты, Сура, подруженька, девонька чистая, сребряная, прости...

Прости мне, жена моя Ирина. Я гулял, а ты мне мстила как могла, с другими гуляя, это всё я виноват. Простите мне, бабы, женщины, девчонки. Если я кого и обрюхатил на мизгирьских холмах, так дитё на свет народилось, оно и хорошо. Простите мне, мои судьи, за то, что в торжественном зале суда, под слепящими люстрами, говорил вам правду, а вы хотели слышать ложь. Простите мне, мои тюремщики, я зло смеялся над вами, когда в окошко, на скворечник похожее, вы совали мне миску баланды; мои сокамерники, я ж у вас легко выигрывал в прыгучий волейбол в тюремном дворе, а потом на нарах в умные шахматы, и вы, обидевшись, били меня, а я в ответ бил вас, крепко бил, так простите.

Прости мне, мой баян, кривыми пальцами на тебе, любимом, звонком и певучем, я всю жизнюшку, как мог, играл. Простите меня, пчёлки мои, плохо я порою за вами ухаживал, в ульях зимою в сенцах оставлял, на морозце, а надо было вас в избу, в тепло, да тулупами закутать. Прости, топор мой, мало, нерадиво я тобою помахал! А надо бы ещё сруб срубить! Ещё один... хотя бы один, люблю, как смолка сосновая пахнет... Простите, грибы, ленился я вас поутру собирать, дрых, как суслик в норе, раньше надо было вставать да к вам бежать, боровики мои, рыжики, лисички, подосиновики, – до восхода!

Простите мне, мои дети, дочка да сынок, вы уехали из дома далеко, разбежались по свету, рассыпались хлебными крохами, и вас чужие птицы клюют, и я вам редко пишу, да почти не пишу, неграмотный я, а что писать-то? Всё зря! Не строчить письмена бесполезные надо, а жить! Пока живётся!

Прости меня, ты... ты... как тебя зовут?.. эх, память моя...

Он подскакивал, трясся в седле, склонялся вперёд и крепко обнимал коня за шею. Вдыхал запах конского пота. Они были с конём одно, как одно он был все эти годы с нею, – с нею, а как её звали, он и забыл, то ли жизнь, то ли женщина, а то ли любовь, а то ли ещё как, – и вот её больше нет.

Конь, хрипя, вытаращивая лунный, бешеный глаз, выбежал на крутояр, и он, скакавший дотоле с закрытыми глазами, глаза открыл – и волжская вечерняя густая синь мазнула ему по лицу, хлестнула по глазам, по губам, облила холодной осенней водой из чана, где вперемешку плавали рыбы и звёзды.

Дорога пролегла по холмам вдоль реки, он, на скаку, поворачивая кудлатую голову, теперь мог всё время видеть Волгу, и он не остановил, не примедлил коня, позволил ему резво скакать дальше, озорнее, веселей. А сам голову всё оборачивал, старую жилистую шею всё напрягал; всё на Волгу глядел.

«Рожденье моё я увидел. Какая ты, моя смерть?»

И будто бы конь Маяк, чуть морду повернув, тихим храпом, тёплым духом из ноздрей вышептал ему:

«Юра, Юра Опарин! Не думай о смерти! Всё природа сама сделает за тебя, не заботься».

И, чувствуя безошибочно свой близкий час, он ещё сильнее хлопнул коня ладонью по потному, жаркому боку, – и ещё подумал: конь домой вернётся, дорогу найдёт, как бы далеко ни заскакал в леса и поля, –
и, глядя на синюю, уже ночную реку, с ожерельем алых и золотых, как чувашские мониста, рыбацких костров на том берегу, в жёстком, как кость, старом седле трясясь и подпрыгивая, он подумал о том, как царственно прекрасна его убитая, людьми наполовину погубленная, но ещё золотая и серебряная в ночи, ещё живая река, как хороши, чисто россыпь светлых живых жемчугов из старых мрачных перловиц, крупные звёзды в небе, как слепят, до слёз, золотые материны праздничные мониста, что теперь лежат, никому не нужные, среди всякого барахла на дне старого сундука, отблески последнего солнца и молодой луны на нежных волнах; как хороша и мила жизнь, как велика и неотвратна старость, и как страшна, проста и непостижна смерть.

\* \* \*

...Я проснулась. Мне приснился странный сон.

Юрина изба, и вроде пустая, и ставни нараспашку, и оконные створки открыты, а иные и разбиты. Воздух, ветер в пустом доме гуляет.

Я медленно подхожу к пустому дому. Пытаюсь заглянуть в окно.
В разбитое стекло. И не могу.

Оттуда, из дома, тьма дышит землёй. Так дышит земля.

Хочу коснуться ставен – не поднимается рука.

Я слышу далёкие звуки баяна. Слышу: гудят пчёлы. Зачем? Уже холодная осень, и Покров прошёл, и поутру хрусткий ледок на лужах.
И речные излуки мрачнеют всё гуще, всё печальней.

Пустой дом не видит и не слышит меня. Мне нечего ему и не о чем говорить.

Человек прошёл по лику земли. Неужели нас всех ждёт пустота, тишина?

И я глохну на миг. А потом слышу Мiръ опять.

Я слышу, мой Бог шепчет: не бойся.

Я слышу далёкое ржанье коня.

Он пасётся на осеннем подмёрзлом лугу, на последней траве.